

А. Фадеев «Молодая Гвардия» (роман)
Монолог Олега Кошевого.

"... Мама, мама! Я помню руки твои с того мгновения, как я стал сознавать себя на свете. За лето их всегда покрывал загар, он уже не отходил и зимой, - он был такой нежный, ровный, только чуть-чуть темнее на жилочках. А может быть, они были и грубее, руки твои, - ведь им столько выпало работы в жизни, - но они всегда казались мне такими нежными, и я так любил целовать их прямо в темные жилочки.

Да, с того самого мгновения, как я стал сознавать себя, и до последней минуты, когда ты в изнеможении, тихо в последний раз положила мне голову на грудь, провожая в тяжелый путь жизни, я всегда помню руки твои в работе. Я помню, как они сновали в мыльной пене, стирая мои простынки, когда эти простынки были еще так малы, что походили на пеленки, и помню, как ты в тулупчике, зимой, несла ведра на коромысле, положив спереди на коромысло маленькую ручку в рукавичке, сама такая маленькая и пушистая, как рукавичка. Я вижу твои с чуть утолщенными суставами пальцы на букваре, и я повторяю за тобой: "бе-а - ба, ба-ба". Я вижу как сильной рукой своею ты подводишь серп под жито, сломленное жменью другой руки, прямо на серп, вижу неуловимое сверканье серпа и потом это мгновенное плавное, такое женственное движение рук и серпа, откидывающее колосья в пучке так, чтобы не поломать сжатых стеблей.

Я помню твои руки, несгибающиеся, красные, залубеневшие от студеной воды в проруби, где ты полоскала белье, когда мы жили одни, - казалось, совсем одни на свете, - и помню, как незаметно могли руки твои вынуть занозу из пальца у сына и как они мгновенно продевали нитку в иголку, когда ты шила и пела - пела только для себя и для меня. Потому что нет ничего на свете, чего бы не сумели руки твои, что было бы им не под силу, чего бы они погнушались! Я видел, как они месили глину с коровьим пометом, чтобы обмазать хату, и я видел руку твою, выглядывающую из шелка, с кольцом на пальце, когда ты подняла стакан с красным молдавским вином. А с какой покорной нежностью полная и белая выше локтя рука твоя обвилась вокруг шеи отчима, когда он, играя с тобой, поднял тебя на руки, - отчим, которого ты научила любить меня и которого я чтил, как родного, уже за одно то, что ты любила его.

Но больше всего, на веки вечные запомнил я, как нежно гладили они, руки твои, чуть шершавые и такие теплые и прохладные, как они гладили мои волосы, и шею, и грудь, когда я в полусознании лежал в постели. И, когда бы я ни открыл глаза, ты была всегда возле меня, и ночник горел в комнате, и ты глядела на меня своими запавшими глазами, будто из тьмы, сама вся тихая и светлая, будто в ризах. Я целую чистые, святые руки твои!

Ты проводила на войну сыновей, - если не ты, так другая, такая же, как ты, - иных ты уже не дождешься вовеки, а если эта чаша миновала тебя, так она не миновала другую, такую же, как ты. Но если и в дни войны у людей есть кусок хлеба и есть одежда на теле, и если стоят скирды на поле, и бегут по рельсам поезда, и вишни цветут в саду, и пламя бушует в домне, и чья-то незримая сила подымает воина с земли или с постели, когда он заболел или ранен, - все это сделали руки матери моей - моей, и его, и его. Оглянись же и ты, юноша, мой друг, оглянись, как я, и скажи, кого ты обижал в жизни больше, чем мать, - не от меня ли, не от тебя, не от него, не от наших ли неудач, ошибок и не от нашего ли горя седеют наши матери? А ведь придет час, когда мучительным упреком сердцу обернется все это у материнской могилы.

Мама, мама!. Прости меня, потому что ты одна, только ты одна на свете можешь прощать, положи на голову руки, как в детстве, и прости..."

Последнее письмо еврейской матери

«Витенька... Это письмо нелегко оборвать, оно — мой последний разговор с тобой, и, переправив письмо, я окончательно ухожу от тебя, ты уж никогда не узнаешь о последних моих часах. Это наше самое последнее расставание. Что скажу я тебе, прощаясь, перед вечной разлукой? В эти дни, как и всю жизнь, ты был моей радостью. По ночам я вспоминала тебя, твою детскую одежду, твои первые книжки, вспоминала твоё первое письмо, первый школьный день. Всё, всё вспоминала от первых дней твоей жизни до последней весточки от тебя, телеграммы, полученной 30 июня. Я закрывала глаза, и мне казалось — ты заслонил меня от надвигающегося ужаса, мой друг. А когда я вспоминала, что происходит вокруг, я радовалась, что ты не возле меня — пусть ужасная судьба минет тебя.

Витя, я всегда была одинока. В бессонные ночи я плакала от тоски. Ведь никто не знал этого. Моим утешением была мысль о том, что я расскажу тебе о своей жизни. Расскажу, почему мы разошлись с твоим папой, почему такие долгие годы я жила одна. И я часто думала, — как Витя удивится, узнав, что мама его делала ошибки, безумствовала, ревновала, что её ревновали, была такой, как все молодые. Но моя судьба — закончить жизнь одиноко, не поделившись с тобой. Иногда мне казалось, что я не должна жить вдали от тебя, слишком я тебя любила. Думала, что любовь даёт мне право быть с тобой на старости. Иногда мне казалось, что я не должна жить вместе с тобой, слишком я тебя любила.

Ну, enfin... Будь всегда счастлив с теми, кого ты любишь, кто окружает тебя, кто стал для тебя ближе матери. Прости меня. С улицы слышен плач женщин, ругань полицейских, а я смотрю на эти страницы, и мне кажется, что я защищена от страшного мира, полного страдания. Как закончить мне письмо? Где взять силы, сынок? Есть ли человеческие слова, способные выразить мою любовь к тебе?

Целую тебя, твои глаза, твой лоб, волосы. Помни, что всегда в дни счастья и в день горя материнская любовь с тобой, её никто не в силах убить.

Витенька... Вот и последняя строка последнего маминого письма к тебе. Живи, живи, живи вечно...

Мама.

Юрий Красавин
«Русские снега» (повесть)

Это был странный снегопад: на небосклоне, где быть солнцу, светило размытое пятно. Неужели там, высоко вверху, ясное небо? Откуда же тогда снег? Белая тьма кругом. И дорога, и лежащее дерево исчезли за снежной пеленой, едва от них удалились на десяток шагов. Просёлок, уходящий в сторону от большака, от деревни Ергушово, едва угадывался под снегом, который толстым слоем покрывал и её, и то, что справа и слева, а придорожные кусты являли собой диковинные фигуры, некоторые из них имели устрашающий вид.

Теперь-то Катя шла, не отставая: боялась потеряться.

— Ты чего, как собачка на поводке? — сказал он ей через плечо. — Иди рядом.

Она ему в ответ:

— Собака всегда бежит впереди хозяина.

— Грубишь, — заметил он и прибавил шагу, пошёл так быстро, что она уже поскуливала жалобно:

— Ну, Дементий, не сердись... Этак я отстану и потеряюсь. А ты за меня в ответе перед Богом и людьми. Слышь, Дементий!

— Иван-царевич, — поправил он и сбавил шаг.

Временами ему казалось, что впереди маячит человеческая фигура, залепленная снегом, или даже две. То и дело неясные голоса долетали, но не понять было, кто говорит и что говорят. Наличие этих путников впереди немного успокаивало: значит, верно угадывает дорогу. Впрочем, голоса слышались и откуда-то сбоку, и даже сверху — снег, что ли, разнимал чей-то разговор на части и разносил по сторонам?

— Где-то рядом попутчики, — сказала Катя насторожённо.

— Это бесы, — пояснил Ваня. — Они всегда в эту пору... у них теперь самый лёт.

— Почему именно теперь?

— Вишь, какая замять! А тут мы с тобой... Их хлебом не корми, дай только поводить людей, чтоб заблудились, потешиться над нами да и погубить.

— Ой, да ну тебя! Чего пугаешь!

— Мчатся бесы, вьются бесы, невидимкою луна...

— У нас даже луны нет.

В полном безмолвии падали и падали снежинки, каждая величиной с головку одуванчика. Снег был настолько невесом, что поднимался даже от того движения воздуха, которое производили шагающие ноги двоих путников — поднимался, будто пух, и, клубясь, растекался по сторонам. Невесомость снега внушала обманчивое впечатление, будто всё лишилось своего веса — и земля под ногами, и ты сам. Позади оставались не следы, а борозда, как за плугом, но и она быстро закрывалась.

Странный снег, очень странный.

Ветер, если он возникал, был и не ветер даже, а лёгкое веяние, которое время от времени устраивало кутерьму вокруг, отчего окружающий мир уменьшался настолько, что становилось даже тесно. Впечатление такое, будто оно заключены в огромное яйцо, в пустую его скорлупу, наполненную рассеянным светом извне — этот свет сгустками, хлопьями падал и поднимался, кружил так и этак...

Лидия Чарская
«Записки маленькой гимназистки» (повесть)

В углу стояла круглая печь, которая постоянно топилась в это время; дверца печки сейчас была широко раскрыта, и видно было, как в огне ярко пылала маленькая красная книжка, постепенно сворачиваясь в трубочки своими почерневшими и зауглившимися листами.

Боже мой! Красная книжка Японки! Я сразу узнала ее.

- Жюли! Жюли! - прошептала я в ужасе. - Что ты наделала, Жюли!

Но Жюли и след простыл.

- Жюли! Жюли! - отчаянно звала я мою кузину. - Где ты? Ах, Жюли!

- Что такое? Что случилось? Что вы кричите, как уличный мальчишка! - внезапно появляясь на пороге, строго произнесла Японка. - Разве можно так кричать! Что вы тут делали в классе одна? Отвечайте сию же минуту! Зачем вы здесь?

Но я стояла как пришибленная, не зная, что ей ответить. Щеки мои пылали, глаза упорно смотрели в пол. Вдруг громкий крик Японки заставил меня разом поднять голову, очнуться... Она стояла у печки, привлеченная, должно быть, открытой дверцей, и, протягивая руки к ее отверстию, громко стонала:

- Моя красная книжка, моя бедная книжка! Подарок покойной сестры Софи! О, какое горе! Какое ужасное горе!

И, опустившись на колени перед дверцей, она зарыдала, схватившись за голову обеими руками. Мне было бесконечно жаль бедную Японку. Я сама готова была заплакать вместе с нею. Тихими, осторожными шагами подошла я к ней и, легонько коснувшись ее руки своею, прошептала:

- Если б вы знали, как мне жаль, мадемуазель, что... что... я так раскаиваюсь...

Я хотела закончить фразу и сказать, как я раскаиваюсь, что не побежала следом за Жюли и не остановила ее, но я не успела выговорить этого, так как в ту же минуту Японка, как раненый зверь, подскочила с полу и, схватив меня за плечи, стала трясти изо всех сил.

Ага, раскаиваетесь! Теперь раскаиваетесь, ага! А сама что наделала! Сжечь мою книжку! Мою ни в чем не повинную книжку, единственную память моей дорогой Софи!

Она, наверное бы, ударила меня, если бы в эту минуту девочки не вбежали в класс и не обступили нас со всех сторон, расспрашивая, в чем дело. Японка грубо схватила меня за руку, вытащила на середину класса и, грозно потрясая пальцем над моей головой, прокричала во весь голос:

- Она украла у меня маленькую красную книжку, которую мне подарила покойная сестра и по которой я вам делала немецкие диктанты. Она должна быть наказана! Она - воровка!

Боже мой! Что это? Поверх черного передника, между воротом и талией, большой белый лист бумаги болтается у меня на груди, прикрепленный булавкой. А на листе выведено четким крупным почерком: /"Она воровка! Сторонитесь ее!" Это было не под силу вынести и без того немало настрадавшейся маленькой сиротке! Сказать сию же минуту, что не я, а Жюли виновата в гибели красной книжки! Одна Жюли! Да, да, сейчас же, во что бы то ни стало! И взгляд мой отыскал горбунию в толпе прочих девочек. Она смотрела на меня. И что за глаза у нее были в эту минуту! Жалобные, просящие, молящие!.. Печальные глаза. Какая тоска и ужас глядели из них!

"Нет! Нет! Ты можешь успокоиться, Жюли! - мысленно произнесла я. - Я не выдам тебя. Ведь у тебя есть мама, которой будет грустно и больно за твой поступок, а у меня моя мамочка на небесах и отлично видит, что я не виновата ни в чем. Здесь же, на земле, никто не примет так близко к сердцу мой поступок, как примут твой! Нет, нет, я не выдам тебя, ни за что, ни за что!"

Вениамин Каверин
"Два капитана" (роман)

"На груди, в боковом кармашке лежало письмо капитана Татаринова.

– Послушай, Катя, – сказал я решительно, – я хочу рассказать тебе одну историю. В общем, так: представь, что ты живешь на берегу реки и в один прекрасный день на этом берегу появляется почтовая сумка. Конечно, она падает не с неба, а ее выносит водой. Утонул почтальон! И вот эта сумка попадает в руки одной женщины, которая очень любит читать. А среди ее соседей есть мальчик, лет восьми, который очень любит слушать. И вот однажды она читает ему такое письмо: «Глубокоуважаемая Мария Васильевна...»

Катя вздрогнула и посмотрела на меня с изумлением

– «...Спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров, – продолжал я быстро. – Четыре месяца тому назад я, согласно его предписаниям...»

И я, не переводя дыхания, прочитал письмо штурмана наизусть. Я не останавливался, хотя Катя несколько раз брала меня за рукав с каким-то ужасом и удивлением.

– Ты видел это письмо? – спросила она и побледнела. – Он пишет об отце? – снова спросила она, как будто в этом могло быть какое-нибудь сомнение.

– Да. Но это еще не все!

И я рассказал ей о том, как тетя Даша однажды наткнулась на другое письмо, в котором говорилось о жизни корабля, затертого льдами и медленнодвигающегося на север.

– «Друг мой, дорогая моя, родная Машенька...» – начал я наизусть и остановился.

Мурашки пробежали у меня по спине, горло перехватило, и я вдруг увидел перед собой, как во сне, мрачное, постаревшее лицо Марьи Васильевны, с мрачными, исподлобья, глазами. Она была вроде Кати, когда он писал ей это письмо, а Катя была маленькой девочкой, которая все дожидалась «письма от папы». Дождалась, наконец!

– Словом, вот, – сказал я и вынул из бокового кармана письма в компрессной бумаге. – Садись и читай, а я пойду. Я вернусь, когда ты прочитаешь.

Разумеется, я никуда не ушел. Я стоял под башней старца Мартына и смотрел на Катю все время, пока она читала. Мне было очень жаль ее, и в груди у меня все время становилось тепло, когда я думал о ней, – и холодно, когда я думал, как страшно ей читать эти письма.

Я видел, как бессознательным движением она поправила волосы, мешавшие ей читать, и как встала со скамейки как будто для того, чтобы разобрать трудное слово. Я прежде не знал – горе или радость получить такое письмо. Но теперь, глядя на нее, понял, что это – страшное горе!

Я понял, что она никогда не теряла надежды! Тринадцать лет тому назад ее отец пропал без вести в полярных льдах, где нет ничего проще, как умереть от голода и от холода. Но для нее он умер только сейчас!

Юрий Бондарев «Юность командиров» (роман)

Они медленно шли по улице. Снег летел в свете одиноких фонарей, сыпался с крыш; возле темных подъездов намело свежие сугробы. Во всем квартале было белым-бело, и вокруг - ни одного прохожего, как в глухую пору зимней ночи. А было уже утро. Было пять часов утра нового, народившегося года. Но им обоим казалось, что не кончился еще вчерашний вечер с его огнями, густым снегом на воротниках, движением и сутолокой на трамвайных остановках. Просто сейчас по пустынным улицам спящего города мела, стучала в заборы и ставни прошлогодняя метелица. Она началась в старом году и не кончилась в новом.

А они шли и шли мимо дымящихся сугробов, мимо заметенных подъездов. Время утратило свой смысл. Оно остановилось вчера.

И вдруг в глубине улицы показался трамвай. Этот вагон, пустой, одинокий, тихо полз, пробиваясь в снежной мгле. Трамвай напомнил о времени. Оно сдвинулось.

- Подождите, куда мы пришли? Ах да, Октябрьская! Смотрите, мы дошли до Октябрьской. Хватит. Я сейчас упаду в снег от усталости.

Валя решительно остановилась, опустив подбородок в мех воротника, задумчиво поглядела на мутные в метели огни трамвая. От дыхания мех возле губ ее заиндевел, заиндевели кончики ресниц, и Алексей увидел: они смерзлись. Он проговорил:

- Кажется, утро...

- А трамвай такой унылый, усталый, как мы с вами, - сказала Валя и засмеялась. - После праздника всегда чего-то жалко. Вот и у вас почему-то грустное лицо.

Он ответил, глядя на приближающиеся из метели огни:

- Я четыре года не ездил на трамвае. Я хотел бы вспомнить, как это делается. Честное слово.

В самом деле, за две недели пребывания в артиллерийском училище в тыловом городе Алексей мало освоился с мирной жизнью, он был изумлен тишиной, он был переполнен ею. Его умиляли отдаленные трамвайные звонки, свет в окнах, снежное безмолвие зимних вечеров, дворники у ворот (совсем как до войны), лай собак - все-все, что давно было полузабыто. Когда же он один шел по улице, то невольно думал: "Вон там, на углу, - хорошая противотанковая позиция, виден перекресток, вон в том домике с башней может быть пулеметная точка, простреливается улица". Все это привычно и прочно еще жило в нем.

Валя подобрала вокруг ног пальто, сказала:

- Конечно, за билеты платить не будем. Поедем "зайцами". Тем более кондуктор видит новогодние сны!

Одни в этом пустом трамвае, они сидели напротив друг друга. Валя вздохнула, потерла перчаткой скрипучий иней окна, подышала. Она протерла "глазок": в нем редко проплывали мутные пятна фонарей. Потом отряхнула перчатку о колени и, выпрямившись, подняла близкие глаза, спросила серьезно:

- Вы что-нибудь сейчас вспомнили?

- Что я вспомнил? - проговорил Алексей, в упор встретив ее взгляд. Одну разведку. И Новый год под Житомиром, вернее - под хутором Макаровым. Нас, двоих артиллеристов, тогда взяли в поиск...

Трамвай катился по улицам, мерзло визжали колеса; Валя наклонилась к протертому "глазку", который уже весь густо налился холодной синью: то ли светало, то ли перестал снег, и луна засияла над городом.

Борис Васильев «А зори здесь тихие» (повесть)

Рита знала, что рана ее смертельна и что умирать ей придется долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам. Васков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому времени еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов, просто по лицу текли слезы, она поняла, что Женьки больше нет. А потом и слезы пропали. Отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед нею, с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная черная бездна распахивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее. Вскоре вернулся Васков. Разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и покачиваясь.

— Женья погибла?

Он кивнул. Потом сказал:

— Мешков наших нет. Ни мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где.

— Женья сразу... умерла?

— Сразу, — сказал он, и она почувствовала, что сказал он неправду. — Они ушли. За взрывчаткой, видно... — Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд, выкрикнул вдруг: — Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!..

Он замолчал, стиснув зубы. Закачался, баюкая раненую руку.

— Здесь у меня болит, — он ткнул в грудь. — Здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?

— Ну, зачем так... Все же понятно, война.

— Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят что ж это вы, мужики, мам наших от пуля защитить не могли? Что ж это вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом...

— Не надо, — тихо сказала она. — Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж погом — канал.

— Да... — Васков тяжело вздохнул, помолчал. — Ты полежи покуда, я вокруг погляжу. А то наткнутся — и концы нам. — Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом.

— Возьми. Два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним. — Погоди. — Рита глядела куда-то мимо его лица, в перекрытое ветвями небо. — Помнишь, на немцев я у разъезда наткнулась? Я тогда к маме в город бегала. Сыночек у меня там, три годика. Аликотом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести пропал.

— Не тревожься, Рита. Понял я все.

— Спасибо тебе. — Она улыбнулась бесцветными губами. — Просьбу мою последнюю выполнишь?

— Нет, — сказал он.

— Бессмысленно, все равно ведь умру. Только намучаюсь.

— Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.

— Поцелуй меня, — вдруг сказала она.

Он неуклюже наклонился, неуклюже ткнулся губами в лоб.

— Колючий... — еле слышно вздохнула она, закрывая глаза. — Иди. Завали меня ветками и иди. По серым, проваленным щекам ее медленно ползли слезы. Федот Евграфыч тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту еловыми лапами и быстро зашагал к речке. Навстречу немцам...

Юрий Яковлев «Сердце земли» (рассказ)

Дети никогда не запоминают мать молодой, красивой, потому что понимание красоты приходит позже, когда материнская красота успеваает увянуть.

Я запомнил свою мать седой и усталой, а говорят, она была красива. Большие задумчивые глаза, в которых проступал свет сердца. Ровные тёмные брови, длинные ресницы. На высокий лоб спадали дымчатые волосы. До сих пор слышу её негромкий голос, неторопливые шаги, ощущаю бережное прикосновение рук, шершавое тепло платья на её плече. Это не имеет отношения к возрасту, это вечно.

Дети никогда не говорят матери о своей любви к ней. Они даже не знают, как называется чувство, которое всё сильнее привязывает их к матери. В их понимании это вообще не чувство, а что-то естественное и обязательное, как дыхание, утоление жажды.

Но в любви ребёнка к матери есть свои золотые дни. Я пережил их в раннем возрасте, когда впервые осознал, что самый необходимый человек на свете – мама. Память не сохранила почти никаких подробностей тех далёких дней, но я знаю об этом своём чувстве, потому что оно до сих пор теплится во мне, не развеялось по свету. И я берегу его, потому что без любви к матери в сердце – холодная пустота.

Я никогда не называл свою мать матерью, мамой. У меня для неё было другое слово – мамочка. Даже став большим, я не мог изменить этому слову. У меня отросли усы, появился бас. Я стеснялся этого слова и на людях произносил его чуть слышно.

Последний раз я произнёс его на мокрой от дождя платформе, у красной солдатской теплушки, в давке, под звуки тревожных гудков паровоза, под громкую команду «по вагонам!». Я не знал, что навсегда прощаюсь с матерью. Я шептал «мамочка» ей на ухо и, чтобы никто не видел моих мужских слёз, вытирал их о её волосы... Но когда теплушка тронулась, не выдержал, забыл, что я мужчина, солдат, забыл, что вокруг люди, множество людей, и сквозь грохот колёс, сквозь бьющий в глаза ветер закричал:

– Мамочка!

А потом были письма. И было у писем из дома одно необычайное свойство, которое каждый открывал для себя и никому не признавался в своём открытии. В самые трудные минуты, когда казалось, что всё кончено или кончится в следующее мгновение и нет уже ни одной зацепки за жизнь, мы находили в письмах из дома неприкосновенный запас жизни. Когда от мамы приходило письмо, не было ни бумаги, ни конверта с номером полевой почты, ни строчек. Был только мамин голос, который я слышал даже в грохоте орудий, и дым землянки касался щеки, как дым родного дома.

Под Новый год мама подробно рассказывала в письме о ёлке. Оказывается, в шкафу случайно нашлись ёлочные свечи, короткие, разноцветные, похожие на отточенные цветные карандаши. Их зажгли, и с еловых веток по комнате разлился ни с чем не сравнимый аромат стеарина и хвои. В комнате было темно, и только весёлые блуждающие огоньки замирали и разгорались, и тускло мерцали золочёные грецкие орехи.

Потом оказалось, что всё это было легендой, которую умирающая мама сочинила для меня в ледяном доме, где все стёкла были выбиты взрывной волной, а печки были мертвы и люди умирали от голода, холода и осколков. И она писала, из ледяного блокадного города посылая мне последние капли своего тепла, последние кровинки.

А я поверил легенде. Держался за неё – за свой неприкосновенный запас, за свою резервную жизнь. Был слишком молод, чтобы читать между строк. Я читал сами строки, не замечая, что буквы кривые, потому что их выводила рука, лишённая сил, для которой перо было тяжёлым, как топор. Мать писала эти письма, пока билось сердце...

Железников «Собаки не ошибаются» (рассказ)

У Юры Хлопотова была самая большая и интересная коллекция марок в классе. Из-за этой коллекции и отправился Валерка Снегирёв к своему однокласснику в гости. Когда Юра начал вытаскивать из массивного письменного стола огромные и почему-то пыльные альбомы, прямо над головами мальчишек раздался протяжный и жалобный вой...

– Не обращай внимания! – махнул рукой Юрка, сосредоточенно ворочая альбомы. – Собака у соседа!

– Почему же она воет?

– Откуда я знаю. Она каждый день воет. До пяти часов. В пять перестает. Мой папа говорит: если не умеешь ухаживать, не заводил собак...

Взглянув на часы и махнув рукой Юре, Валерка в прихожей торопливо намотал шарф, надел пальто. Выбежав на улицу, перевёл дух и нашёл на фасаде дома Юркины окна. Три окна на девятом этаже над квартирой Хлопотовых были неуютно темны.

Валерка, прислонившись плечом к холодному бетону фонарного столба, решил ждать, сколько понадобится. И вот крайнее из окон тускло засветилось: включили свет, видимо, в прихожей...

Дверь открылась сразу, но Валерка даже не успел увидеть, кто стоял на пороге, потому что откуда-то вдруг выскочил маленький коричневый клубок и, радостно визжа, бросился Валерке под ноги.

Валерка почувствовал на своём лице влажные прикосновения тёплого собачьего языка: совсем крошечная собака, а прыгала так высоко! (Он протянул руки, подхватил собаку, и она уткнулась ему в шею, часто и преданно дыша.

– Чудеса! – раздался густой, сразу заполнивший всё пространство лестничной клетки голос. Голос принадлежал щуплому невысокому человеку.

– Ты ко мне? Странное, понимаешь, дело... Янка с чужими... не особенно любезна. А к тебе – вон как! Заходи.

– Я на минутку, по делу.

Человек сразу стал серьёзным.

– По делу? Слушаю.

– Собака ваша... Яна... Воет целыми днями.

Человек погрузился.

– Так... Мешает, значит. Тебя родители прислали?

– Я просто хотел узнать, почему она воет. Ей плохо, да?

– Ты прав, ей плохо. Янка привыкла днём гулять, а я на работе. Вот приедет моя жена, и всё будет в порядке. Но собаке ведь не объяснишь!

– Я прихожу из школы в два часа... Я бы мог гулять с ней после школы!

Хозяин квартиры странно посмотрел на непрошеного гостя, затем вдруг подошёл к пыльной полке, протянул руку и достал ключ.

– Держи.

Пришло время удивляться Валерке.

– Вы что же, любому незнакомому человеку ключ от квартиры доверяете?

– Ох, извини, пожалуйста, – мужчина протянул руку. – Давай знакомиться! Молчанов Валерий Алексеевич, инженер.

– Снегирёв Валерий, ученик 6-го «Б», – с достоинством ответил мальчишка.

– Очень приятно! Теперь порядок?

Собаке Яне не хотелось спускаться на пол, а потом она бежала за Валеркой до самой двери.

– Собаки не ошибаются, не ошибаются... – бурчал себе под нос инженер Молчанов.

Николай Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка» (рассказ)

– Няня, где Жучка? – спрашивает Тёма.

– Жучку в старый колодец бросил какой-то ирод, – отвечает няня. – Весь день, говорят, визжала, сердечная...

Мальчик с ужасом вслушивается в слова няни, и мысли роем теснятся в его голове. У него мелькает масса планов, как спасти Жучку, он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя засыпает. Он просыпается от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором он всё вытаскивал Жучку, но она срывалась и вновь падала на дно колодца.

Решив немедленно идти спасать свою любимицу, Тёма на цыпочках подходит к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, выходит на террасу. На дворе светает. Подбежав к отверстию колодца, он вполголоса зовёт:

– Жучка, Жучка!

Жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно визжит.

– Я сейчас тебя вызволю! – кричит он, точно собака понимает его.

Фонарь и два шеста с перекладиной внизу, на которой лежала петля, начали медленно спускаться в колодец. Но этот так хорошо обдуманый план неожиданно лопнул: как только приспособление достигло дна, собака сделала попытку схватиться за него, но, потеряв равновесие, свалилась в грязь.

Мысль, что он ухудшил положение дела, что Жучку можно было ещё спасти и теперь он сам виноват в том, что она погибнет, заставляет Тёму решиться на выполнение второй части сна – самому спуститься в колодец.

Он привязывает верёвку к одной из стоек, поддерживающих перекладину, и лезет в колодец. Он сознаёт только одно: времени терять нельзя ни секунды. На мгновение в душу закрадывается страх, как бы не задохнуться, но он вспоминает, что Жучка сидит там уже целые сутки. Это успокаивает его, и он спускается дальше.

Жучка, опять усевшаяся на прежнее место, успокоилась и весёлым попискиванием выражает сочувствие безумному предприятию. Это спокойствие и твёрдая уверенность Жучки передаются мальчику, и он благополучно достигает дна.

Не теряя времени, Тёма обвязывает вожжами собаку, затем поспешно карабкается вверх. Но подниматься труднее, чем спускаться! Нужен воздух, нужны силы, а того и другого у Тёмы уже мало. Страх охватывает его, но он подбадривает себя дрожащим от ужаса голосом:

– Не надо бояться, не надо бояться! Стыдно бояться! Трусы только бояться! Кто делает дурное – боится, а я дурного не делаю, я Жучку вытаскиваю, меня мама с папой за это похвалят.

Тёма улыбается и снова спокойно ждёт прилива сил. Таким образом, незаметно его голова высовывается наконец над верхним срубом колодца. Сделав последнее усилие, он выбирается сам и вытаскивает Жучку. Но теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его, и он падает в обморок.

Владимир Железников «Три ветки мимозы» (рассказ)

Утром в хрустальной вазе на столе Витя увидел огромный букет мимозы. Цветы были такие жёлтые и свежие, как первый тёплый день!

– Это мне папа подарил, – сказала мама. – Ведь сегодня Восьмое марта.

Действительно, сегодня Восьмое марта, а он совсем забыл об этом. Он немедленно побежал к себе в комнату, схватил портфель, вытащил открытку, в которой было написано: «Дорогая мамочка, поздравляю тебя с Восьмым марта и обещаю всегда тебя слушаться», и торжественно вручил её маме. А когда он уже уходил в школу, мама вдруг предложила:

– Возьми несколько веточек мимозы и подари Лене Поповой.

Лена Попова была его соседкой по парте.

– Зачем? – хмуро спросил он.

– А затем, что сегодня Восьмое марта, и я уверена, что все ваши мальчики что-нибудь подарят девочкам.

Он взял три веточки мимозы и пошёл в школу. По дороге ему казалось, что все на него оглядываются. Но у самой школы ему повезло: он встретил Лену Попову. Подбежав к ней, протянул мимозу.

– Это тебе.

– Мне? Ой, как красиво! Большое спасибо, Витя!

Она, казалось, готова была благодарить его ещё час, но он повернулся и убежал. И на первой перемене оказалось, что никто из мальчиков в их классе ничего не подарил девочкам. Ни один. Только перед Леной Поповой лежали нежные веточки мимозы.

– Откуда у тебя цветы? – спросила учительница.

– Это мне Витя подарил, – спокойно сказала Лена. Все сразу зашушукались, посмотрев на Витю, а Витя низко опустил голову.

А на перемене, когда Витя как ни в чём не бывало подошёл к ребятам, хотя уже чувствовал недоброе, Валерка стал кривляться, глядя на него.

– А вот и жених пришёл! Здорово, юный жених!

Ребята засмеялись. А тут проходили мимо старшеклассники, и все на него смотрели и спрашивали, чей он жених. Еле досидев до конца уроков, он, как только прозвенел звонок, со всех ног бросился домой, чтобы там, дома, сорвать свою досаду и обиду.

Когда мама открыла ему дверь, он закричал:

– Это ты, это ты виновата, это всё из-за тебя!

Витя вбежал в комнату, схватил веточки мимозы и бросил их на пол.

– Ненавижу эти цветы, ненавижу!

Он стал топтать ветки мимозы ногами, и жёлтые нежные цветочки лопались и умирали под грубой подметкой его ботинок.

А Лена Попова несла домой три нежные веточки мимозы в мокрой тряпочке, чтобы они не завяли. Она несла их впереди себя, и ей казалось, что в них отражается солнце, что они такие красивые, такие особенные...

Владимир Железников «Чучело» (повесть)

А Димка тем временем сообразил, что все про него забыли, проскользнул по стенке за спинами ребят к двери, взялся за ее ручку, осторожно нажал, чтобы открыть без скрипа и сбежать... Ах, как ему хотелось исчезнуть именно сейчас, пока Ленка не уехала, а потом, когда она уедет, когда он не будет видеть ее осуждающих глаз, он что-нибудь придумает, обязательно придумает... В последний момент он оглянулся, столкнулся взглядом с Ленкой и замер. Он стоял один у стены, опустив глаза.

– Посмотри на него! – сказала Железная Кнопка Ленке. Голос у нее задрожал от негодования. – Даже глаз не может поднять!

– Да, незавидная картинка, – сказал Васильев. – Облез малость.

Ленка медленно приближалась к Димке.

Железная Кнопка шла рядом с Ленкой, говорила ей:

– Я понимаю, тебе трудно... Ты ему верила... зато теперь увидела его истинное лицо! Ленка подошла к Димке вплотную – стоило ей протянуть руку, и она дотронулась бы до его плеча.

– Садани его по роже! – крикнул Лохматый.

Димка резко повернулся к Ленке спиной.

– Я говорила, говорила! – Железная Кнопка была в восторге. Голос ее звучал победно. – Час расплаты никого не минует!.. Справедливость восторжествовала! Да здравствует справедливость! Она вскочила на парту:

– Ре-бя-та! Сомову – самый жестокий бойкот! И все закричали:

– Бойкот! Сомову – бойкот! Железная Кнопка подняла руку:

– Кто за бойкот? И все ребята подняли за нею руки – целый лес рук витал над их головами. А многие так жаждали справедливости, что подняли сразу по две руки. «Вот и все, – подумала Ленка, – вот Димка и дождался своего конца».

А ребята тянули руки, тянули, и окружили Димку, и оторвали его от стены, и вот-вот он должен был исчезнуть для Ленки в кольце непроходимого леса рук, собственного ужаса и ее торжества и победы. Все были за бойкот! Только одна Ленка не подняла руки.

– А ты? – удивилась Железная Кнопка.

– А я – нет, – просто сказала Ленка и виновато, как прежде, улыбнулась.

– Ты его простила? – спросил потрясенный Васильев.

– Вот дурочка, – сказала Шмакова. – Он же тебя предал!

Ленка стояла у доски, прижавшись стриженным затылком к ее черной холодной поверхности. Ветер прошлого хлестал ее по лицу: «Чу-че-ло-о-о, пре-да-тель!.. Сжечь на костре-е-е-е!»

– Но почему, почему ты против?! – Железной Кнопке хотелось понять, что мешало этой Бессольцевой объявить Димке бойкот. – Именно ты – против. Тебя никогда нельзя понять... Объясни!

– Я была на костре, – ответила Ленка. – И по улице меня гоняли. А я никогда никого не буду гонять... И никогда никого не буду травить. Хоть убейте!

Илья Турчин Крайний случай

Так и дошёл Иван до Берлина, неся на своих могучих плечах свободу. В руках у него был неразлучный друг - автомат. За пазухой - краюшка материнского хлеба. Так и сберёт краюшку до самого Берлина. 9 мая 1945 года разгромленная фашистская Германия сдалась. Смолкли орудия. Остановились танки. Отвыли сигналы воздушных тревог. Тихо стало на земле. И люди слышали, как шуршит ветер, растёт трава, поют птицы.

В этот час попал Иван на одну из берлинских площадей, где ещё догорал подождённый фашистами дом. Площадь была пуста. И вдруг из подвала горящего дома вышла маленькая девочка. У неё были тоненькие ножки и потемневшее от горя и голода лицо. Нетвёрдо ступая по залитому солнцем асфальту, беспомощно протянув руки, будто слепая, девочка пошла навстречу Ивану. И такой маленькой и беспомощной показалась она Ивану на огромной пустой, будто вымершей, площади, что он остановился, и сердце его стиснула жалость. Достал Иван из-за пазухи драгоценную краюшку, присел на корточки и протянул девочке хлеб. Никогда ещё краюшка не была такой тёплой. Такой свежей. Никогда ещё так не пахла ржаной мукой, парным молоком, добрыми материнскими руками. Девочка улыбнулась, а худенькие пальцы вцепились в краюшку. Иван осторожно поднял девочку с опалённой земли. А в этот миг из-за угла выглянул страшный, обросший Фриц - Рыжий лис. Что ему было до того, что кончилась война! Только одна мысль крутилась в его помутившейся фашистской голове: "Найти и убить Ивана!". И вот он, Иван, на площади, вот его широкая спина. Фриц - Рыжий лис достал из-под пиджака поганый пистолет с кривым дулом и выстрелил предательски из-за угла. Пуля попала Ивану в самое сердце. Дрогнул Иван. Пошатнулся. Но не упал - побоялся девочку уронить. Только почувствовал, как тяжёлым металлом наливаются ноги. Бронзовыми стали сапоги, плащ, лицо. Бронзовой - девочка на его руках. Бронзовым - грозный автомат за могучими плечами. С бронзовой щеки девочки скатилась слеза, ударилась о землю и превратилась в сверкающий меч. Взялся бронзовый Иван за его рукоятку. Закричал Фриц - Рыжий лис от ужаса и страха. Дрогнула от крика обгорелая стена, рухнула и похоронила его под собой... И в ту же минуту краюшка, что оставалась у матери, тоже бронзовой стала. Поняла мать, что стряслась с сыном беда. Кинулась на улицу, побежала, куда сердце повело. Спрашивают её люди:

- Куда торопишься?

- К сыну. С сыном беда!

И подвозили её на машинах и на поездах, на пароходах и на самолётах. Быстро добралась мать до Берлина. Вышла она на площадь. Увидела бронзового сына - подкосились у неё ноги. Упала мать на колени, да так и замерла в вечной скорби своей. Бронзовый Иван с бронзовой девочкой на руках и по сей день стоит в городе Берлине - всему миру виден. А присмотришься - заметишь между девочкой и широкой Ивановой грудью бронзовую краюшку материнского хлеба. И если на Родину нашу нападут враги, оживёт Иван, бережно поставит девочку на землю, поднимет свой грозный автомат и - горе врагам!

Елена Пономаренко
ЛЕНОЧКА

Теплом и гомоном грачей наполнялась весна. Казалось, что уже сегодня кончится война. Уже четыре года как я на фронте. Почти никого не осталось в живых из санинструкторов батальона. Моё детство как-то сразу перешло во взрослую жизнь. В перерывах между боями я часто вспоминала школу, вальс... А наутро война. Решили всем классом идти на фронт. Но девчонок оставили при больнице проходить месячные курсы санинструкторов. Когда я прибыла в дивизию, уже видела раненых. Говорили, что у этих ребят даже оружия не было: добывали в бою. Первое ощущение беспомощности и страха я испытала в августе сорок первого...

— Ребята есть кто живой? – пробираясь по окопам, спрашивала я, внимательно вглядываясь в каждый метр земли. – Ребята, кому помощь нужна? Я переворачивала мёртвые тела, все они смотрели на меня, но никто не просил помощи, потому что уже не слышали. Артналёт уничтожил всех...

— Ну не может такого быть, хоть кто-то же должен остаться в живых?! Петя, Игорь, Иван, Алёшка! – я подползла к пулемёту и увидела Ивана.

— Ванечка! Иван! – закричала во всю мощь своих лёгких, но тело уже остыло, только голубые глаза неподвижно смотрели в небо. Спустившись во второй окоп, я услышала стон.

— Есть кто живой? Люди, отзовитесь хоть кто-нибудь! – опять закричала я. Стон повторился, неясный, глухой. Бегом побежала мимо мёртвых тел, ища его, оставшегося в живых.

— Миленький! Я здесь! Я здесь!

И опять стала переворачивать всех, кто попадался на пути.

– Нет! Нет! Нет! Я обязательно тебя найду! Ты только дождись меня! Не умирай! – и спрыгнула в другой окоп.

Вверх, взлетела ракета, осветив его. Стон повторился где-то совсем рядом.

— Я же потом никогда себе не прощу, что не нашла тебя, – закричала я и скомандовала себе:

— Давай. Давай, прислушивайся! Ты его найдёшь, ты сможешь! Ещё немного – и конец окопа. Боже, как же страшно! Быстрее, быстрее! «Господи, если ты есть, помоги мне его найти!» – и я встала на колени. Я, комсомолка, просила Господа о помощи...

Было ли это чудом, но стон повторился. Да он в самом конце окопа!

— Держись! – закричала я что есть сил и буквально ворвалась в блиндаж, прикрытый плащ-палаткой.

— Родненький, живой! – руки работали быстро, понимая, что он уже не жилец: тяжелейшее ранение в живот. Свои внутренности он придерживал руками.

— Тебе придётся пакет доставить, – тихо прошептал он, умирая. Я прикрыла его глаза. Передо мной лежал совсем молоденький лейтенант.

— Да как же это?! Какой пакет? Куда? Ты не сказал куда? Ты не сказал куда! – осматривая все вокруг, вдруг увидела торчащий в сапоге пакет. «Срочно, – гласила надпись, подчёркнутая красным карандашом. – Полевая почта штаба дивизии».

Сидя с ним, молоденьким лейтенантом, прощалась, а слезы катились одна за другой.

Забрав его документы, шла по окопу, шатаясь, меня подташнивало, когда закрывала по пути глаза мёртвым бойцам. Пакет я доставила в штаб. И сведения там, действительно, оказались очень важными. Только вот медаль, которую мне вручили, мою первую боевую награду, никогда не надевала, потому как принадлежала она тому лейтенанту, Останькову Ивану Ивановичу. После окончания войны я передала эту медаль матери лейтенанта и рассказала, как он погиб. А пока шли бои... Четвёртый год войны. За это время я совсем поседела: рыжие волосы стали совершенно белыми. Приближалась весна с теплом и грачиным гомоном...

Борис Ганаго
«Письмо Богу»

Это произошло в конце XIX столетия. Петербург. Канун Рождества. С залива дует холодный пронизывающий ветер. Сыплет мелкий колючий снег. Цокают копыта лошадей по булыжной мостовой, хлопают двери магазинов - делаются последние покупки перед праздником. Все торопятся побыстрее добраться до дома.

Только маленький мальчик медленно бредет по заснеженной улице. Он то и дело достает из карманов ветхого пальто озябшие покрасневшие руки и пытается согреть их своим дыханием. Затем снова засовывает их поглубже в карманы и идет дальше. Вот останавливается у витрины булочной и разглядывает выставленные за стеклом крендели и баранки. Дверь магазина распахнулась, выпуская очередного покупателя, и из нее потянуло ароматом свежее испеченного хлеба. Мальчик судорожно сглотнул слюну, потоптался на месте и побрел дальше.

Незаметно опускаются сумерки. Прохожих становится все меньше и меньше. Мальчик приостанавливается у здания, в окнах которого горит свет, и, поднявшись на цыпочки, пытается заглянуть внутрь. Немного помедлив, он открывает дверь.

Старый писарь сегодня задержался на службе. Ему некуда торопиться. Уже давно он живет один и в праздники особенно остро чувствует свое одиночество. Писарь сидел и с горечью думал о том, что ему не с кем встречать Рождество, некому делать подарки. В это время дверь отворилась. Старик поднял глаза и увидел мальчика.

- *Дяденька, дяденька, мне надо написать письмо!* - быстро проговорил мальчик.

- *А деньги у тебя есть?* - строго спросил писарь.

Мальчик, теребя в руках шапку, сделал шаг назад. И тут одинокий писарь вспомнил, что сегодня канун Рождества и что ему так хотелось сделать кому-нибудь подарок. Он достал чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернила и вывел: «Петербург. 6 января. Господину...»

- *Как фамилия господина?*

- *Это не господин,* - пробормотал мальчик, еще не до конца веря своей удаче.

- *Ах, это дама?* - улыбнувшись, спросил писарь.

- *Нет-нет!* - быстро проговорил мальчик.

- *Так кому же ты хочешь написать письмо?* - удивился старик.

- *Иисусу.*

- *Как ты смеешь насмехаться над пожилым человеком?* - возмутился писарь и хотел указать мальчику на дверь. Но тут увидел в глазах ребенка слезы и вспомнил, что сегодня канун Рождества. Ему стало стыдно за свой гнев, и уже потеплевшим голосом он спросил:

- *А что ты хочешь написать Иисусу?*

- *Моя мама всегда учила меня просить помощи у Бога, когда трудно. Она сказала, что Бога зовут Иисус Христос,* - мальчик подошел ближе к писарю и продолжал. - *А вчера она уснула, и я никак не могу ее разбудить. Дома нет даже хлеба, мне так хочется есть,* - он ладонью вытер набежавшие на глаза слезы.

- *А как ты ее будил?* - спросил старик, поднявшись из-за своего стола.

- *Я ее целовал.*

- *А она дышит?*

- *Что ты, дяденька, разве во сне дышат?*

- *Иисус Христос уже получил твое письмо,* - сказал старик, обнимая мальчика за плечи. - *Он велел мне заботиться о тебе, а твою маму забрал к себе.*

Старый писарь подумал: *«Мать моя, уходя в мир иной, ты велела мне быть добрым человеком и благочестивым христианином. Я забыл твой наказ, но теперь тебе не будет стыдно за меня».*

Б. Екимов. “Говори, мама, говори...”

По утрам теперь звонил телефон-мобильник. Черная коробочка оживала: загорался в ней свет, пела веселая музыка и объявлялся голос дочери, словно рядом она: — Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец! Вопросы и пожелания? Замечательно! Тогда целую. Будь-будь!

Коробочка тухла, смолкала. Старая Катерина дивилась на нее, не могла привыкнуть. Такая вроде малость — спичечный коробок. Никаких проводов. Лежит-лежит — и вдруг заиграет, засветит, и голос дочери:

— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Не надумала ехать? Гляди... Вопросов нет? Целую. Будь-будь!

А ведь до города, где дочь живет, полторы сотни верст. И не всегда легких, особенно в непогоду.

Но в год нынешний осень выдалась долгая, теплая. Возле хутора, на окрестных курганах, порыжела трава, а тополевое да вербовое займище возле Дона стояло зеленым, и по дворам по-летнему зеленели груши да вишни, хотя по времени им давно пора отгореть рдяным да багровым тихим пожаром.

Птичий перелет затянулся. Неспешно уходила на юг казарка, вызванивая где-то в туманистом, ненастном небе негромкое онг-онг... онг-онг...

Да что о птице говорить, если бабка Катерина, иссохшая, горбатенькая от возраста, но еще проворная старушка, никак не могла собраться в отъезд.

— Кидаю умом, не накину... — жаловалась она соседке. — Ехать, не ехать?.. А может, так и будет тепло стоять? Гутарят по радио: навовсе поломалась погода. Ныне ведь пост пошел, а сороки ко двору не прибились. Тепло-растепло. Туды-сюды... Рождество да Крещение. А там пора об рассаде думать. Чего зря и ехать, колготу разводить.

Соседка лишь вздыхала: до весны, до рассады было еще ох как далеко.

Но старая Катерина, скорее себя убеждая, вынимала из пазухи еще один довод — мобильный телефон.

— Мобила! — горделиво повторяла она слова городского внука. — Одно слово — мобила. Нажал кнопку, и враз — Мария. Другую нажал — Коля. Кому хочешь жалься. И чего нам не жить? — вопрошала она. — Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство...

Этот разговор был не первый. С детьми толковала, с соседкой, но чаще сама с собой.

Последние годы она уезжала зимовать к дочери в город. Одно дело — возраст: трудно всякий день печку топить да воду носить из колодца. По грязи да в гололед. Упадешь, расшибешься. И кто поднимет?

Хутор, еще недавно людный, с кончиной колхоза разошелся, разъехался, вымер. Остались лишь старики да пьянь. И хлеб не возят, про остальное не говоря. Тяжело старому человеку зимовать. Вот и уезжала к своим.

Но с хутором, с гнездом насиженным нелегко расставаться. Куда девать малую живность: Тузика, кошку да кур? Распихивать по людям?.. И о хате душа болит. Пьянчуги залезут, последние кастрюлешки упрут.

Да и не больно весело на старости лет новые углы обживать. Хоть и родные дети, но стены чужие и вовсе другая жизнь. Гостюй да оглядывайся.

Вот и думала: ехать, не ехать?.. А тут еще телефон привезли на подмогу — “мобилу”.

Долго объясняли про кнопки: какие нажимать, а какие не трогать. Обычно звонила дочь из города, по утрам.

Запоет веселая музыка, вспыхнет в коробочке свет. Поначалу старой Катерине казалось, что там, словно в малом, но телевизоре, появится лицо дочери. Объявлялся лишь голос, далекий и ненадолго:

— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец. Вопросы есть? Вот и хорошо. Целую. Будь-

будь.

Не успеешь опомниться, а уже свет потух, коробочка смолкла.

В первые дни старая Катерина лишь дивилась такому чуду. Прежде на хуторе был телефон в колхозной конторе. Там все привычно: провода, черная большая трубка, долго можно говорить. Но тот телефон уплыл вместе с колхозом. Теперь появился “мобильный”. И то слава богу.

— Мама! Слышишь меня?! Живая-здоровая? Молодец. Целую.

Не успеешь и рта раскрыть, а коробочка уж потухла.

— Это что за страсть такая... — ворчала старая женщина. — Не телефон, свиристелка.

Прокукарекал: будь-будь... Вот тебе и будь. А тут...

А тут, то есть в жизни хуторской, стариковской, было много всего, о чем рассказать хотелось.

— Мама, слышишь меня?

— Слышу, слышу... Это ты, доча? А голос будто не твой, какой-то хрипавый. Ты не хвораешь? Гляди одевайся теплей. А то вы городские — модные, платок пуховый повяжи. И нехай глядят. Здоровье дороже. А то я ныне сон видала, такой нехороший. К чему бы?

Вроде на нашем подворье стоит скотиньяка. Живая. Прямо у порога. Хвост у нее лошадиный, на голове — рога, а морда козиная. Это что за страсть? И к чему бы такое?

— Мама, — донеслось из телефона строгое. — Говори по делу, а не про козиные морды.

Мы же тебе объясняли: тариф.

— Прости Христа ради, — опомнилась старая женщина. Ее и впрямь упреждали, когда телефон привезли, что он дорогой и нужно говорить короче, о самом главном.

Но что оно в жизни главное? Особенно у старых людей... И в самом деле ведь привиделась ночью такая страсть: лошадиный хвост и козья страшная морда.

Вот и думай, к чему это? Наверное, не к добру.

Снова миновал день, за ним — другой. Старой женщины жизнь катилась привычно: подняться, прибраться, выпустить на волю кур; покормить да напоить свою малую живность да и самой чего поклевать. А потом пойдет цеплять дело за дело. Не зря говорится: хоть и дом невелик, а сидеть не велит.

Просторное подворье, которым когда-то кормилась немалая семья: огород, картофельник, левада. Сарай, закуты, курятник. Летняя кухня-мазанка, погреб с выходом. Плетневая городьба, забор. Земля, которую нужно копать помаленьку, пока тепло. И дровишки пилить, ширкая ручною пилой на забазье. Уголек нынче стал дорогуций, его не укупишь. Помаленьку да полегоньку тянулся день, пасмурный, теплый. Онг-онг... онг-онг... — слышалось порой. Это казарка уходила на юг, стая за стаей. Улетали, чтобы весной вернуться. А на земле, на хуторе было по-кладбищенски тихо. Уезжая, сюда люди уже не возвращались ни весной, ни летом. И потому редкие дома и подворья словно расплзались по-рачьи, чураясь друг друга.

Прошел еще один день. А утром слегка подморозило. Деревья, кусты и сухие травы стояли в легком куржаке — белом пушистом инее. Старая Катерина, выйдя во двор, глядела вокруг, на эту красоту, радуясь, а надо бы вниз, под ноги глядеть. Шла-шла, запнулась, упала, больно ударившись о корневище.

Неловко начался день, да так и пошел не в лад.

Как всегда поутру, засветил и запел телефон мобильный.

— Здравствуй, моя доча, здравствуй. Одно лишь звание, что — живая. Я ныне так вдарилась, — пожаловалась она. — Не то нога подыграла, а может, склизь. Где, где... — подосадовала она. — Во дворе. Воротца пошла отворять, с ночи. А тама, возля ворот, там грушина-черномьяска. Ты ее любишь. Она сладимая. Я из нее вам компот варю. Иначе бы я ее давно ликвидировала. Возля этой грушины...

— Мама, — раздался в телефоне далекий голос, — конкретней говори, что случилось, а не про сладкую грушину.

— А я тебе о чем и толкую. Тама корень из земли вылез, как змеюка. А я шла не глядела. Да тут еще глупомордая кошка под ноги суется. Этот корень... Летось Володю просила до скольких разов: убери его Христа ради. Он на самом ходу. Черномяска...

— Мама, говори, пожалуйста, конкретней. О себе, а не о черномяске. Не забывай, что это — мобильник, тариф. Что болит? Ничего не сломала?

— Вроде бы не сломала, — все поняла старая женщина. — Прикладаю капустный лист. На том и закончился с дочерью разговор. Остальное самой себе пришлось досказывать: “Чего болит, не болит... Все у меня болит, каждая косточка. Такая жизнь позади...”

И, отгоняя горькие мысли, старая женщина занялась привычными делами во дворе и в доме. Но старалась больше толочься под крышей, чтобы еще не упасть. А потом возле прялки уселась. Пушистая кудель, шерстяная нить, мерное вращенье колеса старинной самопряхи. И мысли, словно нить, тянутся и тянутся. А за окном — день осенний, словно бы сумерки. И вроде зябко. Надо бы протопить, но дровишек — внатяг. Вдруг и впрямь зимовать придется.

В свою пору включила радио, ожидая слов о погоде. Но после короткого молчания из репродуктора донесся мягкий, ласковый голос молодой женщины:

— Болят ваши косточки?..

Так впору и к месту были эти душевные слова, что ответилось само собой:

— Болят, моя доча...

— Ноют руки и ноги?.. — словно угадывая и зная судьбу, спрашивал добрый голос.

— Спасу нет... Молодые были, не чуяли. В доярках да в свинарках. А обувка — никакая. А потом в резиновые сапоги влезли, зимой и летом в них. Вот и нудят...

— Болит ваша спина... — мягко ворковал, словно заворачивая, женский голос.

— Заболит, моя доча... Век на горбу таскала чувалы да вахли с соломой. Как не болеть... Такая жизнь...

Жизнь ведь и вправду нелегкой выдалась: война, сиротство, тяжкая колхозная работа.

Ласковый голос из репродуктора вещал и вещал, а потом смолк.

Старая женщина даже всплакнула, ругая себя: “Овечка глупая... Чего ревешь?..” Но плакалось. И от слез вроде бы стало легче.

И тут совсем неожиданно, в обеденный неурочный час, заиграла музыка и засветил, проснувшись, мобильный телефон. Старая женщина испугалась:

— Доча, доча... Чего случилось? Не заболел кто? А я всполохнулась: не к сроку звонишь.

Ты на меня, доча, не держи обиду. Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие. Но я ведь взаправду чуток не убила. Тама, возля этой дулилки... — Она опомнилась: — Господи, опять я про эту дулинку, прости, моя доча...

Издалека, через многие километры, донесся голос дочери:

— Говори, мама, говори...

— Вот я и гутарю. Ныне какая-то склизь. А тут еще эта кошка... Да корень этот под ноги лезет, от грушины. Нам, старым, ныне ведь все мешает. Я бы эту грушину навовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча... Опять я не то плету... Прости, моя доча. Ты слышишь меня?..

В далеком городе дочь ее слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою: маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как все это зыбко и ненадежно: телефонная связь, видение.

— Говори, мама... — просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвется и, может быть, навсегда этот голос и эта жизнь. — Говори, мама, говори...

Хлеб для собаки

Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крылечке.

У отца в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки, чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального сквера в красной шапке.

Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака. У нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую пристально глядела на нас своим пустующим взором и исчезла столь же мгновенно, как и появилась.

— Что это у неё шерсть так растёт? — спросил я.

Отец помолчал, нехотя пояснил:

— Выпадает... От голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивеет.

И меня словно обдало баннным паром. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, нет-нет да и найдется дурачок вроде меня, который сунет им хлебца. А собака... Даже отец сейчас пожалел не собаку, а ее неизвестного хозяина — «с голодухи плешивеет». Сдохнет собака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.

На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кусками хлеба. Сидел и терпеливо ждал — не появится ли та самая...

Она появилась, как и вчера, внезапно, бесшумно, уставилась на меня пустыми, немдыми глазами. Я пошевелился, чтоб вынуть хлеб, и она шарахнулась... Но краем глаза успела увидеть вынутый хлеб, застыла, уставилась издали на мои руки — пусто, без выражения.

— Иди... Да иди же. Не бойся.

Она смотрела и не шевелилась, готовая в любую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласковому голосу, ни заискивающим улыбкам, ни хлебу в руке. Сколько я ни упрашивал — не подошла, но и не исчезла.

После получасовой борьбы я наконец бросил хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в себя глаз, она боком, боком приблизилась к куску. Прыжок — и... ни куска, ни собаки.

На следующее утро — новая встреча, с теми же пустынными переглядками, с той же несгибаемой недоверчивостью к ласке в голосе, к доброжелательно протянутому хлебу. Кусок был схвачен только тогда, когда был брошен на землю. Второго куска я ей подарить уже не мог.

То же самое и на третье утро, и на четвертое... Мы не пропускали ни одного дня, чтоб не встретиться, но ближе друг другу не стали. Я так и не смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни разу не видел в ее желтых, пустых, неглубоких глазах какого-либо выражения — даже собачьего страха, не говоря уже о собачьей умильности и дружеской расположенности.

Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые ссыльные питались собаками, подманивали, убивали, разделявали. Наверное, и моя знакомая попадала к ним в руки. Убить ее они не смогли, зато убили в ней навсегда доверчивость к человеку. А мне, похоже, она особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить

себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен... даже благодарности.

Да, даже благодарности. Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам имею право есть и жить.

Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть.

Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища. Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни.

В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя.

Виталий Закруткин. Матерь человеческая

В эту сентябрьскую ночь небо вздрагивало, билось в частой дрожи, багряно светилось, отражая полыхавшие внизу пожары, и не было на нем видно ни луны, ни звезд. Над глухо гудящей землей громыхали ближние и дальние пушечные залпы. Все вокруг было залито неверным, тусклым медно-красным светом, отовсюду слышалось зловещее урчание, и со всех сторон напоздали невнятные, пугающие шумы...

Прижавшись к земле, Мария лежала в глубокой борозде. Над ней, едва различимая в смутном полумраке, шуршала, покачивала высохшими метелками густая чаща кукурузы. Кусая от страха губы, закрыв уши руками, Мария вытянулась в ложбине борозды. Ей хотелось втиснуться в затвердевшую, поросшую травой пахоту, укрыться землей, чтоб не видеть и не слышать того, что творилось сейчас на хуторе.

Она легла на живот, уткнулась лицом в сухую траву. Но долго лежать так ей было больно и неудобно - беременность давала о себе знать. Вдыхая горьковатый запах травы, она повернулась на бок, полежала немного, потом легла на спину. Вверху, оставляя огненный след, гудя и высвистывая, проносились реактивные снаряды, зелеными и красными стрелами пронзали небо трассирующие пули. Снизу, от хутора, тянулся тошнотворный, удушливый запах дыма и гари.

- Господи, - всхлипывая, шептала Мария, - пошли мне смерть, господи... Нет у меня больше сил... не могу я... пошли мне смерть, прошу тебя, боже...

Она поднялась, стала на колени, прислушалась. "Будь что будет, подумала она в отчаянии, - лучше помереть там, со всеми". Подождав немного, оглядываясь по сторонам, как затравленная волчица, и ничего не видя в алом, шевелящемся мраке, Мария поползла на край кукурузного поля. Отсюда, с вершины покатога, почти неприметного холма, хутор был хорошо виден. До него было километра полтора, не больше, и то, что увидела Мария, пронизало ее смертным холодом.

Все тридцать домов хутора горели. Колеблемые ветром косые языки пламени прорывались сквозь черные клубы дыма, вздымали к потревоженному небу густые россыпи огненных искр. По освещенной заревом пожара единственной хуторской улице неторопливо ходили немецкие солдаты с длинными пылающими факелами в руках. Они протягивали факелы к соломенным и камышовым крышам домов, сараев, курятников, не пропуская на своем пути ничего, даже самого завалящего катушка или собачьей конуры, и следом за ними вспыхивали новые космы огня, и к небу летели и летели красноватые искры.

Два сильных взрыва потрясли воздух. Они следовали один за другим на западной стороне хутора, и Мария поняла, что немцы взорвали новый кирпичный коровник, построенный колхозом перед самой войной.

Всех оставшихся в живых хуторян - их вместе с женщинами и детьми было человек сто - немцы выгнали из домов и собрали на открытом месте, за хутором, там, где летом был колхозный ток. На току, подвешенный на высоком столбе, раскачивался керосиновый фонарь. Его слабый, мигающий свет казался едва заметной точкой. Мария хорошо знала это место. Год тому назад, вскоре после начала войны, она вместе с женщинами из своей бригады ворошила на току зерно. Многие плакали, вспоминая ушедших на фронт мужей, братьев, детей. Но война им казалась далекой, и не знали они тогда, что ее кровавый вал докатится до их неприметного, малого, затерянного в холмистой степи хутора. И вот в эту страшную сентябрьскую ночь на их глазах догорал родной хутор, а сами они, окруженные

автоматчиками, стояли на току, словно отара бессловесных овец на тырле, и не знали, что их ждет...

Сердце Марии колотилось, руки дрожали. Она вскочила, хотела кинуться туда, на ток, но страх остановил ее. Попятившись, она снова приникла к земле, впилась зубами в руки, чтобы заглушить рвущийся из груди истошный крик. Так Мария лежала долго, по-детски всхлипывая, задыхаясь от едкого, ползущего на холм дыма.

Хутор догорал. Стали стихать орудийные залпы. В потемневшем небе послышался ровный гул летящих куда-то тяжелых бомбардировщиков. Со стороны тока Мария услышала надрывный женский плач и короткие, злые выкрики немцев. Сопровождаемая солдатами-автоматчиками нестройная толпа хуторян медленно двинулась по проселочной дороге. Дорога пролегла вдоль кукурузного поля совсем близко, метрах в сорока.

Мария затаила дыхание, приникла грудью к земле. "Куда ж они их гонят? - билась в ее воспаленном мозгу лихорадочная мысль. - Неужто расстреливать будут? Там же малые дети, ни в чем не повинные женщины..." Широко открыв глаза, она смотрела на дорогу. Толпа хуторян брела мимо нее. Три женщины несли на руках грудных детей. Мария узнала их. Это были две ее соседки, молодые солдатки, мужья которых ушли на фронт перед самым приходом немцев, а третья - эвакуированная учительница, она родила дочку уже здесь, на хуторе. Дети повзрослее ковыляли по дороге, держась за подола материнских юбок, и Мария узнала и матерей и детей... Неуклюже прошагал на своих самодельных костылях дядя Корней, ногу ему отняли еще в ту германскую войну. Поддерживая друг друга, шли двое ветхих стариков-вдовцов, дед Кузьма и дед Никита. Они каждое лето сторожили колхозную бахчу и не раз угощали Марию сочными, прохладными арбузами. Хуторяне шли тихо, и лишь только кто-нибудь из женщин начинал громко, навзрыд плакать, к ней тотчас же подходил немец в каске, ударами автомата сбивал ее с ног. Толпа останавливалась. Ухватив упавшую женщину за ворот, немец поднимал ее, быстро и сердито лопотал что-то, указывая рукой вперед...

Всматриваясь в странный светящийся полумрак, Мария узнавала почти всех хуторян. Они шли с корзинками, с ведрами, с мешками за плечами, шли, повинувшись коротким окрикам автоматчиков. Никто из них не говорил ни слова, в толпе слышался только плач детей. И лишь на вершине холма, когда колонна почему-то задержалась, раздался душераздирающий вопль:

- Сволочи! Пала-а-чи! Фашистские выродки! Не хочу я вашей Германии! Не буду вашей батрачкой, гады!

Мария узнала голос. Кричала пятнадцатилетняя Саня Зименкова, комсомолка, дочка ушедшего на фронт хуторского тракториста. До войны Саня училась в седьмом классе, проживала в школьном интернате в далеком районном центре, но школа уже год не работала, Саня приехала к матери и осталась на хуторе.

- Санечка, чего это ты? Замолчи, доченька! - запричитала мать. Прошу тебя, замолчи! Убьют они тебя, деточка моя!

- Не буду молчать! - еще громче крикнула Саня. - Пускай убивают, бандиты проклятые!

Мария услышала короткую автоматную очередь. Хрипло заголосили женщины. Лающими голосами закаркали немцы. Толпа хуторян стала удаляться и скрылась за вершиной холма.

На Марию навалился липкий, холодный страх. "Это Саню убили", молнией обожгла ее страшная догадка. Она подождала немного, прислушалась. Человеческих голосов нигде не

было слышно, только где-то в отдалении глуховато постукивали пулеметы. За перелеском, восточное хутора, то здесь, то там вспыхивали осветительные ракеты. Они повисали в воздухе, освещая мертвым желтоватым светом изуродованную землю, а через две-три минуты, истекая огненными каплями, гасли. На востоке, в трех километрах от хутора, проходил передний край немецкой обороны. Вместе с другими хуторянами Мария была там: немцы гоняли жителей рыть окопы и ходы сообщения. Извилистой линией они вились по восточному склону холма. Уже много месяцев, страшась темноты, немцы по ночам освещали линию своей обороны ракетами, чтобы вовремя заметить цепи атакующих советских солдат. А советские пулеметчики - Мария не раз видела это трассирующими пулями расстреливали вражеские ракеты, рассекали их, и они, угасая, падали на землю. Так было и сейчас: со стороны советских окопов затрещали пулеметы, и зеленые черточки пуль устремились к одной ракете, ко второй, к третьей и погасили их...

"Может, Саня живая? - подумала Мария. Может, ее только ранили и она, бедненькая, лежит на дороге, истекает кровью?" Выйдя из гущины кукурузы, Мария осмотрелась. Вокруг - никого. По холму тянулся пустой затравевший проселок. Хутор почти догорел, лишь кое-где еще вспыхивало пламя, да над пепелищем мельтешили искры. Прижимаясь к меже на краю кукурузного поля, Мария поползла к тому месту, откуда, как ей казалось, она слышала крик Сани и выстрелы. Ползти было больно и трудно. На меже сбились согнанные ветрами жесткие кусты перекасти-поля, они кололи коленки и локти, а Мария была босиком, в одном старом ситцевом платье. Так, раздетой, она минувшим утром, на рассвете, убежала с хутора и теперь проклинала себя за то, что не взяла пальто, платок и не надела чулки и туфли.

Ползла она медленно, полуживая от страха. Часто останавливалась, вслушивалась в глухие, утробные звуки дальней стрельбы и снова ползла. Ей казалось, что все вокруг гудит: и небо, и земля, и что где-то в самых недоступных глубинах земли тоже не прекращается это тяжкое, смертное гудение.

Саню она нашла там, где и думала. Девочка лежала, распростертая, в кювете, раскинув худые руки и неудобно подогнув под себя босую левую ногу. Еле различая в зыбком мраке ее тело, Мария прижалась к ней, щекой ощутила липкую влажность на теплом плече, приложила ухо к маленькой, острой груди. Сердце девочки билось неровно: то замирало, то колотилось в порывистых толчках. "Живая!" - подумала Мария.

Оглядевшись, она поднялась, взяла Саню на руки и побежала к спасительной кукурузе. Короткий путь показался ей бесконечным. Она спотыкалась, дышала хрипло, боясь, что вот сейчас уронит Саню, упадет и больше не поднимется. Уже ничего не видя, не понимая, что вокруг нее жестяным шелестом шумят сухие стебли кукурузы, Мария опустилась на колени и потеряла сознание...

Очнулась она от надрывного стога Сани. Девочка лежала под ней, захлебываясь от заполнившей рот крови. Кровь залила лицо Марии. Она вскочила, подолом платья протерла глаза, прилегла рядом с Саней, приникла к ней всем телом.

- Саня, деточка моя, - шептала Мария, давясь слезами, - открой глазки, дите мое бедное, сиротиночка моя... Открой свои глазоньки, промолви хоть одно словечко...

Дрожащими руками Мария оторвала кусок своего платья, приподняла Санину голову, стала вытирать клочком застиранного ситца рот и лицо девочки. Прикасалась к ней бережно, целовала солоноватый от крови лоб, теплые щеки, тонкие пальцы покорных, безжизненных рук.

В груди у Сани хрипело, хлюпало, клокотало. Поглаживая ладонью детские, с угловатыми колонками ноги девочки, Мария с ужасом почувствовала, как холодеют под ее рукой узкие ступни Сани.

- Прокинься, деточка, - стала молить она Саню. - Прокинься, голубочка... Не умирай, Санечка... Не оставляй меня одну... Это я с тобой, тетя Мария. Слышишь, деточка? Мы же с тобой только двое остались, только двое...

Над ними однообразно шелестела кукуруза. Утихли пушечные залпы. Потемнело небо, лишь где-то далеко, за лесом, еще содрогались красноватые отсветы пламени. Наступил тот предутренний час, когда убивающие друг друга тысячи людей - и те, кто, подобно серому смерчу, неся на восток, и те, кто грудью своей сдерживал движение смерча, утомились, устали корезить землю минами и снарядами и, одуревшие от грохота, дыма и копоти, прекратили страшную свою работу, чтобы отдышаться в окопах, отдохнуть немного и вновь начать трудную, кровавую жатву...

Саня умерла на рассвете. Как ни старалась Мария согреть смертельно раненную девочку своим телом, как ни прижималась к ней горячей своей грудью, как ни обнимала ее - ничего не помогло. Похолодели Санины руки и ноги, замолкло хриплое клокотание в горле, и вся она стала застывать.

Мария закрыла Сане чуть приоткрытые веки, сложила на груди исцарапанные, со следами крови и лиловых чернил на пальцах, одеревеневшие руки и молча села рядом с мертвой девочкой. Сейчас, в эти минуты, тяжкое, неутешное горе Марии - смерть мужа и малого сына, два дня назад повешенных немцами на старой хуторской яблоне, - как бы уплыло, заволокло туманом, сникло перед лицом этой новой смерти, и Мария, пронзенная острой внезапной мыслью, поняла, что ее горе только невидимая миру капля в той страшной, широкой реке горя людского, черной, озаренной пожарами реке, которая, затапливая, руша берега, разливалась все шире и шире и все быстрее стремилась туда, на восток, отдаляя от Марии то, чем она жила на этом свете все свои недолгие двадцать девять лет...

ВОЛКИ

Так уж устроена деревенская жизнь, что если и до полудня не выйдешь в лес, не прогуляться по знакомым грибным да ягодным местам, то к вечеру и бежать нечего, всё попрячется.

Так рассудила и одна девушка. Солнце только поднялось до верхушек елей, а в руках уже полное лукошко, далеко забрела, но зато грибы какие! С благодарностью она посмотрела вокруг и только собралась было уходить, как дальние кусты неожиданно вздрогнули и на поляну вышел зверь, глаза его цепко следили за фигурой девушки.

— Ой, собака! — сказала она.

Где-то недалеко паслись коровы, и знакомство в лесу с пастушьей собакой не было им большой неожиданностью. Но встреча с ещё несколькими парами звериных глаз ввела в оцепенение...

“Волки, — мелькнула мысль, — недалеко дорога, бежать...” Да силы исчезли, корзинка невольно выпала из рук, ноги стали ватными и непослушными.

— Мама! — этот внезапный крик приостановил стаю, которая дошла уже до середины поляны. — Люди, помогите! — троекратно пронеслось над лесом.

Как потом рассказывали пастухи: “Мы слышали крики, думали, дети балуются...” Это в пяти километрах от деревни, в лесу!

Волки медленно подступали, впереди шла волчица. Бывает так у этих зверей — волчица становится во главе стаи. Только у неё глаза были не столь свирепы, сколь изучающи. Они словно вопрошали: “Ну что, человек? Что ты сделаешь сейчас, когда нет в твоих руках оружия, а рядом нет твоих сородичей?”

Девушка упала на колени, закрыла глаза руками и заплакала. Внезапно к ней пришла мысль о молитве, словно что-то встрепенулось в душе, словно воскресли слова бабушки, памятные с детства: “Богородицу проси!”

Девушка не помнила слов молитвы. Осеняя себя крестным знамением, она просила Матерь Божию, словно свою маму, в последней надежде на заступничество и спасение.

...Когда она открыла глаза, волки, минуя кусты, уходили в лес. Впереди не спеша, опустив голову, шла волчица.

Чордон, прижатый к решетке перрона, смотрел вверх моря голов на красные вагоны бесконечно длинного состава.

- Султан, Султан, сын мой, я здесь! Ты слышишь меня?! - кричал он, воздевая руки через ограду.

Но где там было докричаться! Железнодорожник, стоявший рядом с оградой, спросил его:

- У тебя есть копь?

- Да, - ответил Чордон.

- А знаешь, где сортировочная станция?

- Знаю, в той стороне.

- Тогда вот что, папаша, садись на копя и скачи туда. Успеешь, километров пять, не больше. Эшелон там остановится на минутку, там и попрощаешься с сыном, только скачи быстрее, не стой!

Чордон метался по площади, пока нашел своего коня, и помнил лишь, как рывком развязал узел чумбура, как вдел ногу в стремя, как ожег бока лошади камчой и как, пригибаясь, понесся по улице вдоль железной дороги. По пустынной, гулкой улице, пугая редких прохожих и проезжих, он мчался, как свирепый кочевник.

«Только бы успеть, только бы успеть, так много надо сказать сыну!» - думал он и, не размыкая стиснутых зубов, произносил мольбу и заклинания скачущего всадника: «Помогите мне, духи предков! Помогите мне, покровитель копей Камбар-ата, не дай споткнуться коню! Дай ему крылья сокола, дай ему сердце железное, дай ему ноги олени!»

Миновав улицу, Чордон выскочил на тропу под железа-подорожной насыпью и снова припустил коня. До сортировочной станции оставалось уже недалеко, когда сзади его стал настигать шум эшелона. Тяжелый, жаркий грохот двух спаренных цугом паровозов, как горный обвал, обрушился на его пригнутые широкие плечи.

Эшелон обогнал скачущего Чордона. Лошадь уже притомилась. Но он рассчитывал успеть, только бы поезд остановился, до сортировочной осталось не так уж далеко. И страх, тревога, что поезд может вдруг не остановиться, заставили его вспомнить о боге: «Великий боже, если ты есть на земле, останови этот эшелон! Прошу тебя, останови, останови эшелон!»

Эшелон уже стоял на сортировочной станции, когда Чордон сравнялся с хвостовыми вагонами. А сын бежал вдоль состава - навстречу отцу. Увидев его, Чордон спрыгнул с коня. Они молча бросились в объятия друг друга и замерли, позабыв обо всем на свете.

- Отец, ты прости меня, я уйду добровольцем, - проговорил Султан.

- Знаю, сын.

- Я обидел сестер, отец. Пусть они забудут обиду, если могут.

- Они простили тебя. Ты па них не обижайся, не забывай их, пиши им, слышишь. И мать не забывай.

- Хорошо, отец.

На станции одиноко стукнул колокол, надо было расставаться. В последний раз отец глянул в лицо сына и увидел в нем на мгновение свои черты, себя, еще молодого, еще на заре юности: он крепко прижал его к груди. И в ту минуту всем своим существом он хотел передать сыну отцовскую любовь. Целуя его, Чордон приговаривал одно и то же:

- Будь человеком, сын мой! Где бы ты ни был, будь человеком! Всегда оставайся человеком!

Вагоны дрогнули.

- Чордонов, отправляемся! - крикнул ему командир.

И когда Султана на ходу затащили в вагон, Чордон опустил руки, потом повернулся и, припадая к потной, горячей гриве копя, зарыдал. Он плакал, обнимая шею коня, и так сильно содрогался, что под тяжестью его горя копыта коня переступали с места на место.

Железнодорожники молча проходили мимо. Они знали, почему плакали в те дни люди. И только станционные мальчишки, вдруг присмирив, стояли и с любопытством и детским состраданием смотрели на этого большого, старого, плачущего человека.

Солнце поднялось над горами высотой на два тополя, когда Чордон, миновав Малое ущелье, выехал на широкий простор холмистой долины, уходящей под самые снежные горы. Дух захватило у Чордона. На этой земле жил его сын...

(отрывок из рассказа «Свидание с сыном»)